

Алена Лесовая

# РАССКАЗЫ НИ О ЧЕМ



Когда у автора спросили, о чем этот сборник, она ответила словами БГ:

И друзья меня спросят: «О ком эта песня?»

И я отвечу загадочно: «Ах, если б я знал это сам...»

---

- [Алена Лесова](#)

- [Ты есть!](#)
  - [Ку знающим](#)
  - [Влюбленные](#)
  - [Где?](#)
  - [Лабиринт чужих желаний](#)
  - [Panthera tigris tigris](#)
  - [l'amour pour toujours](#)
  - [Нечто](#)
  - [Отпрыск](#)
  - [Связь](#)
  - [Выдающийся Никто](#)
  - [Отшельник](#)
  - [Лабиринт](#)
-

**Алена Лесова**

**Рассказы ни о чем**

# Ты есть!

Хорошо, когда ты есть!

Когда ты, затаив дыхание наблюдаешь за замысловатым танцем холодного январского ветра. И смотришь так внимательно, как гонимые его упрямой прозрачной силой, невесомые белые хлопья беззвучно ложатся на твердую поверхность земли. Находишь в неровном пункте их суетливого падения что-то неуловимо живое и настоящее и радуешься своей находке, как ребенок. И глаза загораются ярким сиянием, медным блеском полной луны на качающихся волнах чистых вод. Я наблюдаю за мягкостью твоей походки и плавными движениями рук, когда они ритмично пляшут в такт любимой музыке, за тем, как размеренно и легко ты говоришь слова. И все становится таким простым. Как будто и не было никогда этих безжизненных мыслей, кружащихся черными птичьими стаями, оглушающими своим истеричным криком. Не было тех лет, где ты, согнувшись в неудобной позе, упорно не позволял расправить плечи. Где ты выдумывал свой путь, подслушивая нелепые доводы людей, плывущих на тающей льдине по бескрайнему морю своих убеждений. И все время тонул в чужих «за» и «против», не замечая тех маленьких уютных островков, которые специально для тебя возникали из пустоты. А потом ты устал от часто меняющихся направлений, подхватывающих всякого, кто был готов слепо следовать новым тенденциям. И ты заметил наконец свой остров и медленно направил отвыкшее от собственных движений тело к белой полоске песчаного пляжа. Ты вышел на сушу и присел на теплый песок. Конечно, тебе было страшно, ведь ты не знал, выживешь ли ты в одиночку. Но остров был очень красив. Твой остров. Там каждое дерево, трепетно оберегая от тропического зноя, растило для тебя свои плоды. В беспощадно жаркие дни весь лес, сплетая воедино могучие кроны, охранял твой безмятежный сон от настойчивых солнечных лучей. А в холодные ветреные ночи хищные звери прижимались к тебе теплыми телами, согревая твою дрожащую душу. Ты стал замечать то, чего раньше не замечал. Ты увидел, как медленным розовым светом наполняется прозрачное утро, и под его ласковым, едва уловимым, теплым шелком распускаются дивные цветы. Как с каждым днем становится сильнее прорастающая из сухой земли трава. Как грациозными взмахами крыльев разноцветные птицы толкают свои легкие тела по размытому краю небесной синевы. А потом ты восхищенно зажмурил глаза и подумал о том, что так странно было бояться остаться тут в одиночку. Как странно было бояться. И сейчас ты здесь, говоришь что-то смешное и восторженно наблюдаешь, как кружится снег.

Как все-таки здорово, что ты есть!

Здравствуй! Мы иногда встречаемся. Иногда я вижу тебя, растерянного, робкого, так смешно растягивающего слова, будто намотанным на старую бобину голосом. Ты смущенно прячешь небесно-голубой кант своих глаз, обрамляющий бесконечность зрачков. Ничего о себе не знающий, сам собой позабытый, обреченный жить этой секундой, растворившийся в смятении, заинтересованный чем-то трогательно живым, тем, что ускользает, едва только придвинуться к нему пониманием. Я бы любовалась и любовалась тобой, закатом, передвигала бы тяжелую голову из стороны в сторону, чтоб шире рассмотреть горизонт, и никакой разницы бы не было, хоть ты тут стоишь, хоть небоскреб, подпирающий небо, хоть пальма с Лазурного берега. И было бы мне так легко с тобой, как в моем бескрайнем одиночестве. Я была бы беззаботна и ветрена, болтала бы глупости, смеялась, щурилась обжигающему солнцу, подставляла ладони под струи стекающих с крыш прозрачных, холодных линий. Мне бы никогда не было скучно с тобой, никогда бы не было страшно, все текло бы, менялось, у нас было бы что-то огромное, больше, чем мир, больше, чем время, больше, чем то, что можно понять. Мы бы сами себе подарили перенесенный с другого континента пляж, разместили бы его прямо на балконе, выращивали бы экзотические стройные пальмы, пили пряный кофе, сидя на низких шезлонгах, гладили бы песок и смотрели бы на засыпающий город. Если бы у тебя не было плана на год и в положенный срок ты бы не отправлялся на душный, противный курорт, мы бы праздновали каждый день саму жизнь, ее свежий шепот, ее растекающиеся радугой краски, ее плавные или резкие линии, смену ее направлений. Ты бы делал глубокий выдох, и, ошарашенный окончанием дня и тем, как много еще предстоит захватывающих дел завтра, клал бы голову мне на колени, и, не видя разницы между сном и реальностью, давал бы телу немного передохнуть. Ты был бы сильным и ловким, окрашенным такой безмятежной и спокойной красотой, которая освещает путь в сумраке тем, кто позабыл уже как это — по-детски радоваться любому событию. Мы бы шумели, прыгали, бегали, пробовали, пробовали, и делали бы все новое, каждый день. Под нашими ногами никогда не заканчивался бы путь, и, обойдя земной шар по экватору, ты бы снял с плеча болтливого попугая, и, немного переведя дух, мы бы отправились дальше, пересекать Арктику на атомном ледоколе. Старость подкралась бы к нам незаметно и стала бы для нас уютным пристанищем, домиком на берегу океана, где, разбегаясь упругими мышцами ног, мы бы хватали за гриву седую волну и, оседлав ее плоской доской, мчались бы на ней по кучерявым волнам. К нам бы приезжали внуки, визжали бы от радости, кружась по горному серпантину в машине с открытым верхом, смеялись бы над тем, какие мы неуклюжие, познающие осторожно что-то современное, бурчащие что-то про время и нравы, но молодые, живые.

Это мгновение, миг, где все это возможно, только и успеваешь, что вдохнуть и представить край невозможного, а ты уже наигранно приседаешь и говоришь: «Ку!». Важно осматриваешься, смотришь сверху вниз и поучительно поднимаешь указательный палец.

Закончился звук ветра, широкий веник вымел песок с балкона, закатилось оранжевое солнце, все вытянулось струной, экватор протянулся длиной непреодолимых километров, ледокол поплыл задним ходом, потянув за собой гладкое полотно льда, исчезли волны, колышущие бесконечный океан, наш дом на берегу снесло случайным ураганом, весь мир свернулся. Он стал размером с зернышко, крохотное зернышко того, что ты знаешь, он стал

монотонным бормотанием твоей важности, наполовину покрашенной стеной в подъезде, дорогой в глубоких ямах, полезной или вредной пищей, отравленным воздухом, чередой невозможного, твоим тяжелым детством, парой прочитанных книг. Мне так душно с тобой, я отвечаю «Ку!» и поспешу поскорей попрощаться.

Она давно болела, и привыкая с каждым днем к такому своему положению все больше, требовала от окружающего мира какого-то особенного к себе отношения. Особенных слов, особенных взглядов, особенного трепета. Много чего казалось ей унижительным и скучным, много чего неправильным и далеким от истины. Той самой зимой мир каким-то особенно враждебным, и будто ощущая ее беззащитность, все норовил нанести очередной болезненный удар. Она боялась этого, и сжимая продрогшее тело в крохотный теплый комочек, она мучилась ночью от страшных кошмаров, а когда из под опущенных век занавесок в комнату пробиралось утро, она жалела о наступлении нового дня. Вокруг нее что-то вертелось, рутинно ковыляя повседневными хлопотами мимо проползали дни, потом они сменялись ночами, и все начиналось опять.

У нее была маленькая тайна, она хранила ее бережно и нежно, но за тщательно прихлопнутым, будто тяжелой дверь, густым туманом собственных мыслей. Она верила, как-то наивно, по-детски честно и легко, в то, что когда-то обязательно наступит день, где не будет боли и страха, и ничего внешнего не сможет быть опаснее внутреннего. Сам механизм подобного явления был ей совершенно непонятен, как чистая детская радость от ночевки в палатке в лесу, и по ощущениям это было очень похоже на восторг, такой искренний и совершенно бессмысленный, но будто забытый, оставленный, отброшенный в далекое прошлое и оттуда отправляющий свои сигналы, азбукой Морзе или санскритом, неразборчивым почерком авторских рукописей, ламповыми звуками старых мелодий, несвязным шепотом красивого певца, шелестом листьев в лесу, залитым солнечным светом полем с выгоревшей травой и ее сладковатым запахом, тем что так сложно расшифровать. Иногда, она будто пошевелив догорающее пламя костра, вспыхивала, вспоминала, и ее охватывало блаженство. Не такое, блаженство, будто ты привязан цепью к покосившейся собачьей конуре, и снисходительный хозяин, вдруг бросил тебе обглоданную кость, а огромное, невыразимое блаженство, необъяснимое, прохладное и теплое, неоднозначное, и все в себя вмещающее.

Однажды она встретила его. На кухне своей квартиры, за завтраком. Они разговорились, и оказалось, что они живут здесь вместе достаточно долго, но каждый вечер засыпая в общей постели, они отворачивались друг от друга, воображая, что здесь больше никого нет. И каждое утро, они просыпались и обязательно спорили о чем-то, но каждый из них твердил одно и то же, свое, а слышать другого не мог, из-за диапазона их частот, что никак не совпадали на их совместной жилплощади. Она удивилась. Ей вдруг показалось, что она никогда не видела его, будто смотрела сквозь, будто была так занята сочинением своего диагноза, что все остальное считала бессмысленным и мелочным. Она вдруг спросила, конфузясь своего вопроса и избегая попадания своими глазами в его, знает ли он, что она больна. Он оживился и сказал, что она просто хандрит и это скоро пройдет. Сказал, что почти все болезни проходят, а те, что не проходят, подпитываются жизнью и мыслями о себе, разрастаются, становятся целым миром, вселенной глубокой тоски. Что даже если ей приходилось простудиться от того, что она долго стояла босыми ногами у холодной реки, это не значит совсем, что теперь ей нельзя выходить любоваться закатом к волнистой воде. И если предыдущая секунда обманула ее ожидания, это вовсе не значит, что это не правильно. Сказал, что время неоднозначно и возможно оно не вперед идет вовсе, а назад,

начиная свой обратный отсчет с того самого момента, как мы делаем свой первый вдох, а значит нечего бояться, потому все что мы знаем, слишком относительно для того, чтобы верить хоть в одну единицу полученных знаний. Он улыбался, говорил, говорил, говорил, ее поражала его глубина, красота, простота его слов. Уткнувшись в его плечо, она слушала, слушала... Он не жалел ее, не поучал, не наставлял, не парил в высокомерном небе аргументов, просто был рядом и все разрешал. А она все больше становилась тем самым днем, которого долго ждала, сменив лишь угол обозрения собственной жизни, и пошире распахнув глаза.



# Где?

Где ты живешь, где скрываешься? Посреди равнодушного сурового климата, в бескрайней тайге, запутанный плетением душистых трав, за стеной густого леса. Как далеко ты прячешься? За высокими порогами стеклянных водопадов, у кромки беспокойной речной полосы, что пляшет изгибами, подкармливая дикое стадо пушистых зелёных голов, сползающих пёстрой толпой с каменных прибрежных истуканов, чтоб напиться пресной воды. От чего ты бежишь? Отгородившись страхом, обращая пустоту безответных вопросов в холодное прикосновение заряженного ружья, стреляющего заученными буквами, верными словами, скупыми знаниями, замирая от щемящего чувства непригодности полученного опыта, но бесконечно ждущего, что опыт пригодится. Как называешь себя? Высокодуховным отшельником, томящимся в ожидании подходящего рая для своей тонкой, ранимой, колеблющейся точки отсчёта становления личности? Или тем, неизведанным, что, отстранившись от низменного мира примитивных душегубов, могло бы стать вселенским чудом, массовым спасением, чистым родником для уставших путников. А когда сквозь дыры на дне черного мешка в непроглядную тьму проливается свет, ты называешь его звёздами и , устало щуря глаза, глядишь на него, как на нечто недостижимое. Одинок и бессилен, сетуя на сложности и вынужденную меру своего отсутствия, все же стараешься сберечь узкоколейную железную дорогу, соединяющую тебя с неправильным, но важным миром. Какой ты? Очертил ли свой контур географическим названием заброшенной деревни, что без внимания трудолюбивых и честных, сильных и верных своей земле людей покрывается толстым ковром пушистого мха? А как-то раз, обожженный полуденным зноем, суетливо занеся свою ногу над ступенями чужого крыльца, вспомнишь, как мягко млеет день в стенах дома, и чуть позже в прямоугольной отверстии его прозрачных окон полыхнет огненный закат, и звёзды, настоящие, засветятся, рассыпаясь огромными белыми бусинами. Подумаешь, что, наверно, зря бежал.

# Лабиринт чужих желаний

Иммануил замер, плотно прижав лоб к холодному прозрачному стеклу. Видел, как в глубине серых разбросанных клочков облачной ваты копошится золотой солнечный свет, отбрасывая на бесконечный горизонт песков свою светлую тень. А ветер, хватая невидимыми лапищами крупницы бесконечной пустыни, рисовал ими немыслимый узор и после яростно швырял во все стороны, пренебрежительно, безразлично. И все казалось таким живым, дышащим своенравными ветрами, греющимся в теплых солнечных объятиях, свободным. Он думал; а вдруг за границей этих стеклянных стен существует жизнь, настоящая, ничем не ограниченная, без начала и без конца, текущая плавностью речной прохлады, питающая все вокруг своим существованием. Думал, что, возможно, за горизонтом видимых условностей есть и океан, там размытая кромка песчаного пляжа медленно сползает в черную пучину недостижимых глубин. А вокруг, кокетливо запрокидывая густые гривы, изящно выгибают спины стройные пальмы. Кто он? Почему он здесь? Зачем?

— Иммануил! — Его словно вырвал из цепких лап глубокого сна знакомый голос. — Вы чего? Что стоите? Идёмте! — Его друг, единственный, кого он знал в лабиринте, встревоженно оглядываясь, пытался поскорее отвести его от стекла.

— Вы же знаете, нам нельзя долго думать, получите выговор.

— Да, да, конечно! — уже отходя от прозрачной стены, пробормотал он. — Скажите, а задумывались ли вы когда-нибудь, почему вы здесь, почему мы все здесь? Может быть, там, за стеной, есть жизнь, какая-нибудь прекрасная, вольная жизнь, без всяких условностей и контролируемых проявлений, простая, как дыхание, и одновременно сложная, неоднобразная?

— Что вы? О чем вы говорите? Это исключено! Абсолютно! Вы же знаете, что знание с невозможности жизни за пределами лабиринта чужих желаний, передается из поколения в поколение уже очень много лет, а значит оно достоверно и подлинно! Ведь вы не думаете, что наши предки могли бы нас так цинично обманывать? Нет, нет, это определенная глупость, ваш вопрос!

Но Иммануил вдруг подумал... Вернее, крошечное сомнение закралось в его устойчивое восприятия лабиринта и стало понемногу расшатывать хлипкую конструкцию, состоящую из аксиом и норм, правил и однозначных запретов. Он подумал, что да, как ни странно, но главное — непонятно зачем, их предки действительно могли их обманывать. Не то чтобы он уверился в этом абсолютно, но он весьма ощутимо вдруг допустил эту гипотезу. Скажем, пятьдесят на пятьдесят. «Почему же, — подумал он, — это не может быть возможно? Это может быть возможно, ровно так же, как и может быть невозможно». Он так погрузился в размышления на этот счёт, что шел по коридорам лабиринта, ни с кем не здороваясь, и встречные люди, недоумевая от такой невоспитанности, укоризненно смотрели ему в спину.

Они проходили мимо него, шагая огромными странными шагами, некоторые вперёд спиной, некоторые на четвереньках, а были ещё такие, которые, проделывая сложные акробатические трюки, рассыпали множество исписанных неразборчивыми каракулями белых листов бумаги, а потом, краснея и бледнея, быстро подбирали их и продолжали свои замысловатые комбинации движений. Каждый из них исполнял чье-то желание, прихоть своего начальника, который по совместительству мог быть супругом, родителем, ребенком,

другом или просто шефом на работе. Традиционный взгляд на чужое желание воспитывался в жителях лабиринта с самого детства, формировался сложными эпитетами мыслеформ, старательно вложенными и многократно подтвержденными правилами выживания в лабиринте. У каждого в потайном уголке, где уставшее тело отдыхало от исполнения чужих желаний, на ровном квадрате красиво оформленного листа бумаги, обрамленного нарядной рамкой, на центральном видном месте висело напоминание. На нем изящными ровными буквами были выведены слова: «Если ты хочешь выжить в лабиринте, ты должен...» И после слова «должен» у каждого было написано какое-то свое, только ему известное, ставшее родным и неподдающееся критическому мышлению условие. У Иммануила условием было: «быть как все». Но сейчас, когда он был полностью поглощён размышлениями о собственной свободе, это условие выпало из поля его зрения, он попросту о нем забыл, внезапно обнаружив, что с каждым новым шагом его тело все больше оживает, плечи расправляются, а спокойный и размеренный ход его ног приносит ему суший восторг. Рядом с ним неуклюжей вприпрыжку шел друг.

— Иммануил, что это вы? Так странно идете?

— Знаете, оказывается это так приятно, так радостно! — Иммануил несколько раз задорно присел, разминая отвыкшее от разнообразных движений тело.

Люди из лабиринта смотрели на него удивленно, они никогда не видели, чтоб кто-то так легкомысленно двигался.

— Прекратите, вы смущаете народ! — не унимал своих переживаний товарищ. — Вы что, хотите потерять того, чьи желания вы исполняете?

Иммануил задумался. На какой-то миг над ним черной тучей навис страх такой потери, и тело, привычно согнувшись от этого страха, безысходно выдохнув, замерло. «Погодите, — пронеслось в голове у Иммануила, и он вздрогнул, — а ведь можно по-другому». И снова выпрямился. Вокруг обыкновенно суетились люди, ковыляя, прыгая, ползая, они на мгновение завороченно замирали, глядя на ошарашенного, стоящего в полный рост, счастливого человека, но, опасаясь наказаний и лишений, они на бегу перебрасывались с друг другом словами о его вероятном сумасшествии. Его друг, далеко ускакавший по изгибам прозрачной змеи, отчаянно размахивая руками, призывал Иммануила перестать дурачиться и прийти в себя.

«Я пойду!» — Иммануил махнул на прощание побратиму. — «Неужели все так просто? Перестал сгибаться и идёшь? Перестал бояться потерять того, кто заставляет жить согнувшись, и выходишь на свежий воздух?» И, переступив через низкий порог, отделяющий стеклянную тюрьму от мягкого ковра бесконечных песков, он оказался где-то в мире. Стоял, закрыв глаза от удовольствия, а ветер, выпивая залпом верхушку океанского соленого бриза, обнимал его плечи, оставляя на теле прохладные капли своих прикосновений. И стройные пальмы, разбрасывая свои густые шевелюры, шуршали, пахли мягкой зеленью и кокосовым молоком, заботливо окружая его густой тенью. Кем он был, где он был, чего боялся? Он больше не знал.

# Panthera tigris tigris

Безжалостный дрессировщик исчезающего вида panthera tigris tigris устало поставил плеть, уперев ее в стену, и бессильно рухнул в большое старое кресло. Внутри него сгушалась тьма, она расползалась по всем уголкам его сознания, оставляя за собой следы черной копоти. Он яростно сражался с ней, пока находил в себе силы, отвергая страх, взглянуть за неизведанные дали ее черных полотен, но каждый раз она все сильнее кутала его разум безупречно заученными фактами. Она учила его жестокости и нетерпимости, отчужденности и недоверию, она тренировала его память, приковывая его внимание к следам той немыслимой, давно причиненной ему боли, заставляла верить в то, что давно затянувшиеся шрамы до сих пор болят. Он еще помнил себя другим. Это воспоминание, едва уловимое, чистое, детское, не раз становилось для него безмолвной, невыразимой гордостью и маленьким экзотическим островом, где он отдыхал и, рассеивая тяжелый смог несбывшихся фантазий, мог позволить себе забыть обо всем. Когда он был ребенком, он восхищался сильной грацией огромных полосатых кошек и мог часами наблюдать за плавным течением их естественной жизни. За тем, как легко и пластично они громоздили ворсистые тела на широкие ветви огромных деревьев, как, словно не поддаваясь силе земного притяжения, ловко отрывали мощные лапы от твердого грунта — охотились. Он даже завел тетрадь, где дотошно записывал все наблюдения, исследования только ему одному известных феноменов о любимых тиграх, и на всех семейных торжествах он, невероятно ошарашенный случаем поведать близким о своих новых открытиях, патетично выразительно читал собственные записи с высокой табуретки. Пока он был мал, всем вокруг его хобби казалось достаточно милым и познавательным, и ему снисходительно разрешали продолжать заниматься любимым делом. Но мальчик рос и понемногу становился мужчиной, а общество, наделенное неоспоримым талантом все познавать силой своего подавляющего большинства, безотлагательно жаждало от него проявлений той самой мужественности из бабушкиных сказок про богатырей. Так каждый раз какой-нибудь заезжий коммивояжер со смешно закрученными вверх тонкими усами считал своим долгом, возвышаясь над хрупким телом юнца, разглядывая его несколько брезгливо, словно блоху под микроскопом, хрипло, раскатисто спрашивать: «Ну, кем хочешь стать, когда вырастешь?!» И парень, слегка дрожа от бесстыдного чужого нахрапа, поеживаясь и не узнавая собственный голос, тихо отвечал, подергивая плечами: «Не знаю... Хочу любить тигров!» И всегда этот недоумевающий, пренебрежительный взгляд: «Что?! Любить тигров, да что за профессия?! Вот коммивояжер — я понимаю! Слесарь — я понимаю, строитель — тоже понятно! А это что за детские фантазии? Стань мужиком наконец! Тигров любить!!! Вы такое слышали? Дрессировщик, что ли?»

Так день за днем он все больше стыдился своей мечты, и требующая определений реальность, нависая над ним необходимостью подчинить свою необузданную, глупую любовь, толкала его к освоению нового слова. Дрессировщик. Он узнал все, что мог, долго и скрупулёзно усваивал методики владения ненавистной плетью. Да, сперва он ненавидел ее, не понимая, как тот великолепный, дикий характер, которым он так восхищался, который он так любил, можно заставить прыгать через горящие кольца, превращая всю мощь и красоту буйного нрава в орущий восторг зевающей толпы. Но однажды он сдался. Он помнил свой первый удар. Даже сейчас, потирая больное колено, утопая в грязных лохмотьях колченогого

кресла, словно прячась в них от позора, он помнил его и стыдился его. Ему было больно и совестно, он думал: «И это все, что я могу? Подчинять себе диких зверей, отнимая у них свободу, держать на цепи, заставляя их покоряться моей ничтожной силе, жалкому размаху плети — символу страха перед общественным мнением? Вот бы однажды они меня съели — эти огромные, полосатые кошки, это было бы наилучшим концом для меня». И, гневно оттолкнув ногой стоящую рядом плеть, он молча уставился в единственное освещенное место в ангаре — клетку со спящими животными. «А ведь действительно», — проносилось в его голове. — «Я войду к ним в клетку, и они, желая расправиться с мучителем, разорвут меня на части, а после скроются в зарослях густого леса, и никто никогда больше не принесет им вреда».

С этими мыслями он поднял тяжелое тело из глубины вязкой ткани и направился шаткой походкой к железным прутьям маленькой тюрьмы. Услышав шаги хозяина, две огромные кошки подняли красивые морды, наострив пушистые уши. Дрессировщик, едва контролируя непослушные руки, быстро расправился со знакомым замком и, стремительно распахнув железную дверь, ввалился в клетку. Мягко закрыл глаза. Ему впервые за долгое время было хорошо и спокойно, он думал, что, возможно, впервые в жизни он делает что-то по-настоящему правильно, так, как велит ему его любовь. Однако вопреки всем ожиданиям он почувствовал у своих ног почувствовал трение теплого пушистого густого ворса, тигры, обнимая его ноги, нежно прикасались к нему роскошными шкурами. Они простили его. В эту секунду, он перестал ощущать свое тело, свой ум, его поглотила лавина нахлынувшего счастья, доселе неизвестная ему, и им рассыпанная миллиардом хрупких частичек. Он думал, что отпустит тигров, а отпустил себя и, очнувшись от блаженного покоя, обнаружил себя диким бенгальским тигром, бегущим подальше от блеющих человеческих криков. Он обернулся в последний раз и, заметив вдалеке пестрый купол передвижного цирка, ни о чем не сожалея, тронулся в свой одинокий путь.

# **L'amour pour toujours**

Еще совсем недавно все было простым и понятным, за горизонт событий беспечно валились крупницы минут беззаботного мирского счастья. В простых и подлинных вещах, опробованных многократными прикосновениями логичного ума, он находил забвение и твердый фундамент для каждого отточенного шага. Он плыл по четкому простору раздумий каждодневной суеты, и вот однажды нечто тревожное, не спланированное, оторванное от реальности его привычного распорядка, ворвалось в его жизнь бесконтрольным сиянием невозможных чувств — он влюбился. И женщина была совсем не той. Он все смотрел в нее, так жадно трогал своим взглядом ее волнующую суть, не в силах разгадать ее незримую загадку. Искал в плавности ее несовершенных линий продуманную прыть прибрать к своим рукам всякого одурманенного ее чарами мужчину. Не находил. Он неуклонно шел по следам ее слов, оборванных, недосказанных миражей его глубокой тоски, но чем больше погружался в ее бушующий нрав, тем сильнее чувствовал, что место той беззаботной и сформированной жизни занимают фантомные боли его сладострастного увлечения. Он запрещал себе думать о ней, но ее прозрачная легкость преследовала его по пятам, возрождая из пепла его угасшей памяти остатки его затаенных, забытых восторгов. Он думал когда-то, что любовь — это очерченный круг, принадлежащий кому-то и для кого-то одного возвышающий свой таинственный символ. Он думал любить — это падать в объятия нежных рук и знать каждый изгиб знакомого тела, привести в порядок, узаконить квадратной печатью, оставить дома, закрыть на все замки. Но его фантомная боль, отбирающая все силы, царапающая его сердце острыми гранями невыразимого блаженства, переставала быть болью и становилась все больше похожей на крылья. Он чувствовал это и боялся этого. Привыкший к твердости знакомого пейзажа, шагая уверенным шагом, он опасался итогов свободного полета, и страх всех неизведанных последствий вползал к нему в душу при каждом воспоминании о ней. При ней он говорил слова, скользкие обрывки недосказанных чувств, и как ребенок ронял сконфуженный взгляд на узорчатый пол. А иногда, вдыхая полной грудью свежий воздух порывистого ветра, надеясь, что все возможно, робко топтался на пороге ее открытого сердца, тревожно подбирая подходящее приветствие. Разве думал он, что ей все равно, кто он такой и почему так рассеянно озираясь вокруг ищет законные основания, чтоб взглянуть ей в глаза. А она была распахнута настежь, очаровательна и легкомысленна, и все ее немыслимые формы обращались для каждого упоенного ею, бесконечной возможностью любых откровений. Когда-нибудь это обязательно случится. Он устанет от тщетных попыток разгадать ее тайны, обнаружит, что она несусветно проста и ничего не скрывает, и приняв свое несовершенство, он шагнет нетвердостью страсти в бесконечную бездну, что между ними зияет своей черной пустотой, и оттолкнувшись от устойчивого смысла улетит в бескрайний синий простор.

— У нас еще одна, с непростой судьбой, заводить?

Мой конвоир произнес эти слова с едва уловимым ироничным оттенком и, желая поскорей отделаться от очередного рутинного действия, втолкнул меня в маленький серый кабинет, так и не дождавшись ответа. Комната была обставлена убогой, некрасивой мебелью, стены покрывали старые, выцветшие обрывки бумаги с незамысловатым узором, которые давным-давно могли бы сойти за обои. Дверь за моей спиной мягко шлепнулась и, оказавшись в полумраке задымленного помещения, я разглядела согнувшуюся над столом фигуру. Человек, сидевший за столом, продолжал как ни в чем не бывало писать что-то на белом листе бумаги, не обращая на меня ни малейшего внимания. Поеживаясь от неприятных ощущений сложившейся ситуации, а еще от такого поверхностного оглашения моей сложной и многогранной личности, я, сжавшись, уселась на старое грязное кресло. Наконец человек, дописав последнюю строку, поставил размашистую подпись и, потеряв уставшие от напряжения глаза под очками, безапелляционно уставился на меня сверлящим взглядом.

— Таааак... — протянул он. — Что тут у нас?

— Не что, а кто! — по привычке протестуя против каждого слова авторитетных говорящих, ответила я.

— Ну да, ну да. Сложная судьба, разбитое сердце, неразделенная любовь, нежелание социальной адаптации, нескончаемый подростковый максимализм, проблемы с мироощущением, панические атаки, антисоциальное поведение, безудержное желание изменить мир, демонстративное отрицание канонических знаний... Мне продолжать или пока остановимся?

Он сверлил меня затяжной паузой, уставившихся внутрь меня глубоких глаз. «Вот это поворот» — пронеслось в моей голове. — «Куда я попала?». Но вслух произнесла:

— А что такого-то? У всех бывает! И любовь неразделенная и панические атаки! Что вы лично от меня хотите-то?

— А то, — говорит, — у всех, да не у всех, и вообще, кто эти все? Тут только мы с тобой, и все! И то! Факт-то сомнительный! Как любовь твоя вот эта, неразделенная! Это что значит вообще? Любовь есть любовь, никакой она не может быть!

— Как так?

— А так! Любовь это что тебе? Выгодная инвестиция в себя? С гарантиями бесконечного счастья? Хочешь так? Да пожалуйста! Только и ты сама, будь тогда добра, принимай все, как есть, не пытайся никого изменить под себя, ничего не делай для того, чтоб нравиться — вот тебе и гарантия будет, что никаких страданий и неразделенности со стороны любви. Сама полюби, бескомпромиссно, суверенно. — Проговорив это, человек захихикал и неожиданно хрюкнул, что, кажется, его несколько не смутило, и он самоуверенно продолжил: — А что, ты так пробовала? Нет? То-то же! Прошное, говоришь, тебя мучает? А что прошное-то, где оно, миленькое? Потрогать бы его. А нет! Прошло, и след простыл! Захочешь разыскать, а не получится, хоть кого спроси!

Все происходящее было тревожным и совершенно непонятным. Стены комнаты мелко запрыгали, мне казалось, что это я их расшатала, и вот-вот они, не выдерживая очередного взрыва слов неизвестного гражданина, развалятся на мелкие обрывки воспоминаний,

знаний, соображений на тот или иной счет. Стало страшно и душно. «Вот понеслась!» — привычный приказ активации механизма панической реакции неожиданно возымел обратный эффект. На какую-то долю секунды мне показалось, что все стало прежним, но, ощупав взглядом помещение, я обнаружила, что стены исчезли. Хотя первоначальное восприятие частично отображало действительность, в ее исходном виде. Например, посреди огромного, необозримого простора неуклюже громоздился стол, а еще отчетливо просматривались две двери. Человека видно не было, хотя я ощущала его присутствие. Мне казалось, что он стоит у меня за спиной.

— Кто вы такой? — судорожно выплеснула я из себя.

— Да как хочешь... — Голос проплыл по прохладному воздуху и бесследно растворился. — Я кем угодно могу быть, а как ты меня назовешь, мне, честно говоря, безразлично. Некоторые говорят, что я похож на злого стража их привычных порядков, некоторые боятся меня как огня, потому что я не имею никакой конкретной формы, а неизведанное обычно пугает. Я, в общем-то, не против определений, но в целом мне в них довольно скучно и тесно.

Он еще долго что-то говорил, смеялся, а я все время думала только об одном: есть ли у этой комнаты границы, и если есть, то где они выстраивают свои бетонные препятствия, а если нет, то как это — жить в этом бесформенном просторе, не отождествляя каждый свой шаг или мысль с твердостью обшарпанных стен.

— Вы меня задержите, да? — Глупая, странная мысль, которая показалась мне важной и по-настоящему определяющей мою последующую судьбу, озарила черный простор.

— Да на кой ты мне сдалась? Ты кем меня считаешь, цепным псом? У меня и тела нет толком, только в твоём воображении я какой-то. Так что ступай себе с миром и перестань о чем-то думать!

— Как, совсем?!

— Ну да! Совсем! Мысли, они что? Они ничего! Живи себе и радуйся, дыши!

— А идти куда?

— Да куда хочешь! Двери видишь?

— Да, вижу, две!

— Ну вот. Самое страшное, что с тобой может произойти, это то, что ты выйдешь в дверь, ведущую назад. И, пройдя половину своего пути, ты вернешься в ту же реальность, но уже с надменным пониманием того, что полпути ты прошла. Тогда ты будешь всем встречающимся рассказывать о том, что они делают что-то не так, будешь тратить все отпущенное тебе время на восстановление баланса между добром и злом, скандировать с трибуны чужие слова, но с оттенком своего эгоцентризма. Тебя будут уважать и побаиваться, а толпы адептов будут жаждать твоего благословения и совета. Скукотища, короче, замкнутый круг.

— А если в другую?

— А если в другую, никто не знает, что будет. Говорят, там ничего нет и все есть одновременно. Но это только слухи. А на самом деле, никто ничего и сказать бы не смог, потому что все слова, которые здесь что-то значат, там ничего охватить не могут. И если наш мир состоит из слов, то там слов не существует.

— Да, выбор непростой.

— Непростой, а что делать?

— Можно мне еще подумать?



— Да думай, пожалуйста, кто тебе запретит-то.

Сентиментальный отпрыск скукоженного Чуда чувственно скандировал строки японского поэта Готоба-ин. Зал был оформлен помпезным мещанством искусственных цветов, подчеркивая безвкусицу общей картины ожесточенным и едким ароматом суперклея. Отпрыск чувствовал себя несколько скованно, он явно ощущал пренебрежение к липким взглядам, впившимся в его демонстративно-возвышенное чтение. Но сделать с этим он ничего не мог. Согласно народным суевериям любая, пусть даже самая традиционная форма выражения искренних чувств, жестоко каралась его социальным подвидом. Это могло обратиться для него крайне нежелательным исходом — отставанием от прогрессивных тенденций современного общества. Поэтому он продолжал театрально закатывать глаза под деланные ахи-вздохи ликующей толпы. Он знал наверняка, что многоразовая перекличка его остывших чувств, происходящих от вчерашнего горя, наиболее эффективно отразится в глазах почитателей его скромного таланта. Да, в этом он был мастер. Спекуляция страданиями в его манерном исполнении всегда сулила громогласные, часто наигранные, но такие приятные уху восторги. «Гений, гений...!!!» Они протекали сквозь его органы восприятия реальности, разливаясь сладковатым принятием собственной важности. Вся эта сутулая композиция выглядела смешно и нелепо, но никто из присутствующих не решался остановить это форменное безобразие. Каждый был сам по себе, но монолитность сплоченных рядов не давала раскрыться индивидуальному видению этого странного действия. И он продолжал:

«Я жалею людей.  
Я презираю людей.  
Я отчаялся думать  
О печалях этого мира.  
И в свою печаль погрузился»

В нависшей тишине финальной сцены образовалась черная дыра, в которую провалился весь театральный надрыв высокомерного актера, вместе с пошло оформленным залом и дышащей в унисон замершей оравой. В этом крохотном отрезке времени, вмещающем в себя только один приглушенный выдох, а может быть, еще взмах века, освободившего кристально чистую слезу, было все. Это мгновение, распавшись на миллион гладких песчинок, вобрало в себя всю мощь бескрайней пустыни. Будто погружаясь в строки великого императора, выпала из поля зрения необходимость вглядываться в надменно раскрытый рот произносящего эти строки. Каждый слушатель упал на дно собственного мелкого колодца надрывной, истеричной драмы. Улыбнулся. «Ведь вот оно, то самое дно — твердое, холодное, бессмысленное. Я здесь стою, и ничего не вижу», — подумал. — «Упал и барахтаюсь, слепо полагаясь на осязание неполноценности». Но за пределами круглых бетонных колец его бездушной отчужденности, столько всего происходит! Там, в параллельных реальностях каждого частного случая, есть что-то общее для всех. Что не зависит от глубины овладевшего сознанием вкуса тревоги. Там наступает рассвет, свежий, вдохновляющий прохладной медью приглушенного блеска. Выплывает из неведомого омута

благоухающее непредсказуемым сиянием солнце. Проливается золотом виртуозных, уверенных взмахов кисти, рисующих собственную жизнь. Или робких — только первых шагов в сторону покорного следования любой прихоти проявлений себя.

Зал зашелся оглушительным хохотом, смел с театральных подмостков балаганного клоуна. Весь былой наигранный пыл ведомого, послушного зрителя пустился в пляс, обнажая всю глубину своего несовершенства, без опаски и напряжения.

Одним заиндевелым осенним утром я вынесла себя в душистую прохладу краснеющей листвы. Вокруг было тихо и очень красиво. Лохматые обрывки тумана растворялись в мерцающем утре, и кристаллы рассыпанной повсюду росы сверкали радужным блеском свежести нового дня. Я шла, и на душе было легко, будто безапелляционное чувство красоты и беззаботности наступило вместе с этим утром, и я — как часть этой удивительной планеты — была также причастна к происходящим вокруг чудесам. Я завернула за угол квадратного бетонного здания и, проходя мимо цельной серости его гладкой стены, увидела красную коробку телефона-автомата и уродливо болтающуюся на его блестящем проводе трубку. Этот кусок прямоугольного металла выглядел крайне тоскливо. Я представила, как кто-то, не дождавшись подходящего ответа или в пылу страстной ссоры, швырнул голос, доносящийся из трубки, отбросил его нервно и ушел, и этот отброшенный голос теперь одиноко болтается в воздухе, а вокруг суетливо проходят люди, не обращая на него никакого внимания. Я подошла и, намереваясь повесить тяжелую трубку, взяла ее в руку. Я очень удивилась — она была еще теплой, вроде ее отпустили мгновение назад, и структура ее кристаллической решетки еще не успела забыть тепло человеческой руки. Вскоре я услышала голос, он доносился из трубки. Я приложила ее к уху и стала слушать тоскливый шепот, бесконечный, удручающий, льющийся ледяным дождем, иногда гневный, а потом беззащитный, наполненный сухой унылостью. Он говорил, говорил, говорил, наставлял, плакал, тосковал по прошлому, вел ожесточенную борьбу и побеждал, но триумф был печальным и бессмысленным, перетекал в поражение, заставлял голос дрожать. Я много раз пыталась что-то сказать, но голос ничего не слышал, все мои попытки поговорить были прозрачными, невидимыми и, плавая по длинным кабелям городской связи, растворялись по пути, так и не дойдя до адресата. Мне даже показалось в какой-то момент, что я говорила с машиной, с заученным алгоритмом слов, записанным дотошным сумасшедшим перед собственной смертью, но я отчетливо слышала дыхание. Дыхание голоса было живым, тот, кто говорил, был живым. Просто он не видел и не слышал, только говорил. Где-то далеко, сидя на полу своей квартиры, среди остатков воспоминаний о том, что его кто-то бросил, не любил, забыл. Он был растерян и зол, он метался, он верил, что это так важно — говорить, говорить, чтоб доказать хоть кому-то, что он существует. Он думал, что важнее всего — найти собеседника, терпеливого, молчаливого, который способен слушать и, покорно кивая головой, заваривать на кухне сладкий чай. Но кому нужны слова? Их нескончаемый треск рано или поздно надоедает, и хочется молчать. Слушать, как шевелится ветер, в полудреме перебирая верхушками разлапистых крон деревьев, как льются длинные нити дождя, меняя остроту своих капель на продолговатые серые лужи, как, запутываясь в языках прозрачной воды, шершаво пересыпается гравий под напором могучей водной бескрайности.

— Приходи через час на берег реки, подышим воздухом и помолчим, — сказала я и повесила трубку.

Я долго бродила по берегу, рассматривая пестрые камни на дне прозрачной реки. На спокойной глади ее мягкого зеркала виднелись перевернутые вверх тормашками деревья, окутанные разноцветными узорами листвы, будто толстыми шарфами. Никто так и не пришел.

# Выдающийся Никто

Выдающийся Никто лениво зевнул, не прикрывая рта, и принялся пренебрежительно рассматривать своих соседей по ложе третьего яруса маленького провинциального театра. В их уездном городке давали «Ревизора», и каждый его гражданин, чувствующий свою принадлежность к какой-нибудь форме культуры, считал своим долгом появиться на такого рода мероприятии. Спектакль был скучный, актеры играли плохо, в животе у Никого урчало, и больше всего ему хотелось поскорей оказаться у буфетной витрины, чтоб, медленно пережевывая бутерброд с красной рыбой, запить его рюмкой обжигающего коньяка. Он так замечтался, что поневоле стал нервно постукивать носком своей начищенной туфли о впереди стоящий стул, и некая полная дама, сидевшая на нем, обернувшись, обдала его суровым взглядом сдвинутых на переносице бровей. Едва начался антракт, а он, стоя у круглого буфетного столика, оживленно потирал руки, глаза на ломтик белого хлеба, покрытый прозрачными кружками заветрившейся колбасы, ибо вопреки его надеждам бутербродов с красной рыбой в буфете не оказалось. И теперь эта незамысловатая еда неуклюже возвышалась на фарфоровом белоснежном блюде. Рядом с блюдом стояла рюмка коньяка. Пока Никто старательно и медленно пережёвывал несвежий бутерброд, запивая его коньяком, он перебросился парой слов со случайным собеседником, выразив свое откровенное негодование относительно отвратительной постановки спектакля, бездарной игры актеров, а также невыносимой духоты нынешнего лета и варварского повышения цен на продукты питания. Еще долго они с этим неизвестным гражданином спорили об одном и том же, пока так и не добившись признания своей правоты, последний махнул рукой на невыносимого спорщика и удалился досматривать спектакль. Выдающийся Никто, удовлетворенный собственным триумфом в буфетных дебатах, застыл в царственной позе, намереваясь покинуть театр, так и не досмотрев до конца эту скучную вакханалию непонятных ему сцен. Он жил на окраине города, поэтому, покинув просторный зал театрального фойе, он поспешил на автобусную остановку.

Вскоре приехал автобус, и он величаво водрузил себя в его удручающую духоту. Автобус был набит до отказа уставшими, висящими на поручнях людьми, и, разгребая их, как длинные ножки растущих в воде лилий, по салону автобуса пробирался кондуктор. Так, подобравшись вплотную к Выдающемуся Никому, кондуктор тоном хозяина местных широт громко спросил: «Что у вас за проезд?» И Никто, отчеканивая каждую букву, добавив ноту недоумения, словно спрашивая «Да как ты посмел?», ответил протяжно: «Удостоверение». — «Предъявите!» — услышал в ответ и, покрываясь красными пятнами смущения и ярости, он затараторил бесконечно длинный монолог. Там было: «Да кто ты такой, чтоб я тебе? Тоже мне нашелся! Кондуктор! Подумаешь! Да я тебя! Ты посмотри на него! Ишь, чего выдумал, с меня требовать! Я тебя запомнил! Ты мне фамилию свою скажи! ...» Удивленный кондуктор и те люди, что толпились возле Никого, стали, прижимаясь к друг другу, отодвигаться от него в часть автобуса, где не было слышно его слов, а те немногочисленные, что остались стоять возле источника странного шума, поеживаясь, старались не обращать на него внимание. Выдающийся Никто беспрерывно возмущался до самой своей остановки, и когда он покинул автобус, по салону пронесся облегченный вздох, и, смущенно улыбаясь, каждый из присутствующих подумал: «Как все-таки здорово, что я не такой».

Оказавшись у своего дома, по-прежнему разъяренный Никто высокомерно прошел мимо стоящих у парадного соседей, он знал этих людей слишком давно и несмотря на похожесть их образов жизни укоренил в себе мнение, что они неудачники и глупцы и его снисхождения до рукопожатий не получают. Он поднялся на свой этаж и, быстро расправившись со знакомым замком, оказался в маленькой бедной квартирке, нарочито громко хлопнув дверью, чтоб показать своим домочадцам, что хозяин пришел. На звук открывающейся двери выбежала его жена — хрупкая, немолодая женщина с красивыми, но очень печальными глазами, и, изо всех сил стараясь уловить причину плохого настроения мужа, быстро подставила ему под ноги комнатные тапки. Никто, свирепо дыша, засунул ноги в тапки и, молча отодвинув жену, поплелся мыть руки. Привыкшая к темпераменту мужа, жена Никого бесшумно пробежала на кухню, и за считанные мгновенья на крахмаленной белой скатерти оказался дымящийся теплотой, свежеприготовленный ужин. Накаляя до предела нависшую тяжесть молчания, Никто уселся за кухонный стол. Через несколько минут на кухне появился сын Никто, худощавый живой подросток, боязливо оглядываясь на мать, он проскрипел тоненьким голосом: «Здравствуй, отец», и, нехотя оторвавшись от горячего супа, Никто брезгливо посмотрел на сына, показав ему рукой, чтоб он ушел, не мешал ему спокойно ужинать. Однообразность повторяющихся дней научила семью Никого верить в то, что это еще не самое страшное, что может случиться: жить в постоянной тени настроения тирана масштаба крохотной квартирке, и они покорно расползлись по своим углам.

Каждое утро Выдающийся Никто тщательно собирался на службу, надевал светящуюся от чистоты свежую рубашку и [кропотливо](#) чистил до блеска ботинки. Он приходил в контору за десять минут до начала рабочего дня и, педантично переставляя предметы на столе, ждал появления главы конторы. А когда тот приходил, точный как часы, в одно и то же время, с одним и тем же затёртым годами портфелем, бросался к нему, чтоб первым показаться на глаза, пролить сладкие льстивые фразы на наморщенный лоб своего господина. И каждый раз, я вас уверяю, каждый, он получал в ответ только сморщенный высокомерный взгляд и молчание. А бывало и так, что заведенный с самого утра столоначальник кричал, не разбирая виноватых: «Да кто вы такие? Да я вас! Вы все тут бездари и глупцы! Всех уволю!»

За полярным кругом жил отшельник. Его маленький уютный дом был расположен на крутом утесе, среди выступающих из ледяной воды острых скал, и на фоне безразмерного масштаба их многочисленных изгибов выглядел крохотной песчинкой. В доме было тихо и тепло, все пространство его безмятежного покоя было наполнено мягким ароматом горящих поленьев. В нем было мало мебели и много книг — единственного источника чужих переживаний, которые отшельник радостно принимал, погружаясь в бесконечный полумрак полярной ночи. Каждый день, выходя из своего убежища на колючий жгучий холод, выхватывая из тусклой мглы коротких дней немного света, он замечал отпечатки широких раздвоенных копыт северного оленя. Отшельник все бродил по белоснежной простыне, сотканной из миллиардов хрупких снежинок, обнаруживая новые следы затаенной зимней жизни своих соседей, и, делаясь очень счастливым от такой безмолвной с ними близости, брел домой под гулкий вой приближающейся пурги. Он слышал все сказки беспощадных северных ветров, обрушивающих свою неистовую мощь на любого, кто осмелится вторгнуться в их ледяные владения, но неустанно верил, что они все же приняли его отрешенную смиренность и теперь огибают его жилище своим послушным безразличием. Здесь, вдали от городского освещения, он разглядел все краски мерцающих в небе огней и, растворяясь в красоте их немыслимых расцветок, забывал на какое-то время, что он человек. А когда на равнодушные мерзлые просторы нежным теплом опускалась весна, пробуждая своими чувственными прикосновениями дремлющую природу, он наблюдал из маленького окошка своей обители, как, выбрасывая из необъятного синевы моря свое огромное тело, радуется весне синий кит. Иногда к нему приходили послы актуального мира. Они жалели его и просили поверить железобетонным доводам их коммунальной природы. А он улыбался, наливал им чай, смотрел в пустоту их бесцветных глаз и ничего не говорил. Они так и уходили, ничего не понимая, унося с собой свои веские «за» и «против», так и не заметив, как раскаленный огненный шар, наполовину затонувший в прохладном зеркале бирюзовой воды, рассыпает свое отражение множеством сверкающих алмазов.

У всех лабиринтов есть выход. Он неизбежен, как наступление апреля, если позволить себе рассмотреть его детальней. Так, вроде он нарисован на листе бумаги, и у тебя есть возможность видеть его целиком. Будто ты вышел за предел полумрака его поворотов и рассматриваешь кратчайшие пути, чтоб его покинуть. Ты спокоен, позабавлен игрой, и у тебя есть время, чтоб разгадать этот ребус. Ты можешь долго с ним возиться, время от времени поглядывая на него, но быстро переключаясь на что-то другое, а можешь, наоборот, — сидеть, упрямо вглядываясь в каждый изгиб его сомкнутых линий.

Но выбрав ту или иную стратегию, ты все равно в конце концов дойдешь до места, где разорвется контур лабиринта. И ты, удовлетворенный собственной победой, пойдешь заниматься чем-то другим. А еще можно попробовать его полюбить. И ходить по твердым каменным полам, рассматривая хищную красоту дикого винограда, который, крепко обнимая холодные стены, переплетает их немыслимым узором. Блуждая под косыми лучами звездных светил, дивиться, как ложится свет на неровные края виноградных листьев.

Возможно, тогда он перестанет быть лабиринтом, а представится в виде удивительного приключения, наполненного бесценным опытом. А возможно, рано или поздно любовь к странствиям и бесконечному восторгу превратится в карту и выведет тебя на свежий воздух. У всех лабиринтов есть выход! Ведь они для того и построены, чтобы из них выходить.